

Первое издание 1-й.

Выходит 4 раза в год

ГРАНИ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА
И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Под редакцией

Е. РОМАНОВА, Б. СЕРАФИМОВА И С. МАКСИМОВА

№ 1
ИЮЛЬ
1946

„ПОСЕВ“

Гуманизм Федора Достоевского

(Настоящая статья представляет собою фрагмент книги того же названия, подготовленной автором к изданию).

Первое выступление Достоевского на литературном поприще было отмечено событием, не получившим до сих пор достаточного объяснения в критике. Подавляющее большинство биографов до наших дней видят в этом событии нечто, относящееся исключительно к частной жизни писателя, но ничего не прибавляющее к нашим знаниям о его общественных воззрениях. Как это ни странно, но исследователи Достоевского расходятся в данном случае... с самим Достоевским, оставившим совершенно ясные, хотя немногочисленные и малоизвестные, указания на то, что в его глазах это событие имело именно общественный, идейный смысл и никакой другой.

Речь идет о шумевшей в свое время „ссоре“ молодого Достоевского с кружком В. Г. Белинского и с самим Белинским, которому Достоевский был обязан многим и, в частности, в какой-то мере, даже первыми литературными успехами.

Напомним основные факты биографии писателя, относящиеся к тому моменту.

Ровно сто лет тому назад, в 1846 г., Достоевский принес Григоровичу только что оконченную рукопись своего первого произведения — повести „Бедные люди“. Григорович, в свою очередь, познакомил с ней Некрасова, подбиравшего в то время материалы для зятяного им „Петербургского сборника“, а затем Белинского. Прочтя рукопись, Белинский, со свойственной ему горячностью, потребовал, чтобы к нему „тотчас же“ привели ее автора, и когда Достоевский предстал перед великим критиком, тот, как сообщают современники, „восторженно“, „с горящими глазами“ воскликнул:

„Да вы понимаете-ль сами-то, что вы такое написали? Вы только непосредственным чувством, как художник, это могли описать. Но осмыслили вы сами-то всю эту страшную правду, на которую



вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в 20 лет уже это понимали...“

Так родилась дружба общепризнанного литературного корифея того времени „неистового Виссариона“, находившегося на вершине славы, и молодого Достоевского, делавшего первые шаги в литературе. Одного слова Белинского было достаточно, чтобы рукопись „Бедных людей“ была принята Некрасовым и напечатана в „Петербургском сборнике“ на первом месте, рядом

с рассказами Тургенева и кн. Одоевского, со стихами А.п. Майкова и др. Большие литературные достоинства «Бедных людей» и появившаяся вслед за тем критическая статья Белинского, полная восторженных похвал, довершили дело: Достоевский сразу обретает славу, которая редко выпадает на долю молодого литератора. Но «нействительный Виссарион» не успокаивается на этом. Он вводит Достоевского в избранный литературный кружок, главой которого является он сам, всячески опекает молодого литератора и всеми силами стремится приобщить его к своим идеям. Сам ничий литературный поденщик, он заботится о материальном положении Достоевского, проявляет постоянный интерес к его новым работам, предостерегает его от поспешности и от ошибок.

И вот, не проходит даже года, как весь литературный Петербург начинает говорить о том, что Достоевский вышел из кружка Белинского, порвал с ним и дал слово никогда туда не возвращаться. Хотя и Достоевский и Белинский сами хранят глубокое молчание, тем не менее, слухи вскоре подтверждаются: бывшие друзья стали врагами, между ними вдруг легла темная пропасть, которой более не суждено было исчезнуть вплоть до наступившей вскоре смерти В. Белинского.

Подходя к этому моменту, биографы Достоевского или опускают занавес, или, проронив несколько слов о „темных сторонах“ души великого писателя, о его „заносчивости“, „болезненном самолюбии“ и „мнительности“, спешат дальше — к описанию жизни Достоевского на каторге, куда он был сослан вскоре после этого разрыва. Огромное обаяние личности Белинского, ореол „мученичества“, окружающий его посмертный образ — с одной стороны, а с другой — прочно установившееся в нашей критике мнение о Достоевском, как о человеке неуравновешенном, тяжелом — вот что заставляет критиков предполагать, что роль Достоевского в описанном событии была во всяком случае, не такова, в какой его хотелось бы им видеть.

А между тем, пожалуй, ни одно событие из первых лет литературной деятельности Достоевского не должно было бы привлекать такого объективного вдумчивого внимания, как это. Ибо даже и безгласное знакомство с творчеством великого писателя наводит нас на мысль, что именно к этому моменту относятся первые признаки того глубокого и длительного духовного кризиса, какой предшествовал рождению оригинальной философии Федора Достоевского. Именно тогда, после провала «Двойника» и повести «Хозяйка», мучительно воспринятого Достоевским, для автора их начинается пора творческих поисков и общей «переоценки ценностей», завершающейся переходом от тематики «Бедных людей» к тематике «Записок из подполья», столь мало похожих друг на друга, словно они не были написаны одним пером.

Уже много лет спустя, в расцвете своей славы Достоевский в письме к Страхову обронил фразу, содержащую в себе ключ к пониманию его

отношений с В. Белинским. «Я обругал Белинского, — писал он, — более как я влечен в русско-ий ж и з н и, нежели как лицо» (курсив наш — Н.В.). В другом письме он прямо говорит о своем глубоком уважении к Белинскому, как к человеку «благородному», хотя идейные позиции последнего продолжают вызывать у Достоевского отталкивание от самого конца. Можно ли сомневаться после этого в причинах «ссоры» Достоевского с Белинским? Можно ли поверить в то, что их разлад вызывался только личными причинами, а не являлся следствием глубокой разницы их убеждений?

Разумеется, нельзя.

Подобно многим современникам, Достоевский начал с увлечения модными идеями рационализма и связанного с ним плоского «гуманизма», занесенного в Россию с Запада и быстро распространявшимся в русском обществе. Однако, это увлечение было очень кратковременным и имело для великого художника только тот смысл, что позволило ему пристальнее разглядеть опасность, тающуюся в учении людей, которые, отвергнув Бога, уже тогда мечтали об устройстве человеческого счастья исключительно на основах разума. Достоевский был первым в русском писателем, увидевшим еще в то время в «гуманистическом» учении рационализма страшную угрозу человеку и его свободе. И, увидев, отдал борьбу с ним все силы своего необычайного литературного таланта.

Не «западники» и «славянофилы» выражали в середине прошлого столетия два полярно-противоположных направления русской мысли, ибо их борьба шла все же на поверхности, не затрагивая самых глубин духа. Настоящая же борьба протекала именно в глубинах духа, и в глубинах духа ее выражали Достоевский и то умственное направление, которое, в конце концов, исходило от Белинского, как логическое завершение его идей, все-равно — желал он сам этого или не желал. Известно, что Белинский не был сам ни атеистом, ни материалистом. Он исповедывал идеализм немецких школ, увлекался Фихте, Шеллингом и Гегелем. Он был «гуманистом», преисполненным участия к «униженным и оскорбленным», как были преисполнены им в западной Европе Диккенс, Жорж Занд и Гюго. Но, подобно тому, как из диалектики идеалиста Гегеля, «поставленной с головы на ноги», родился марксистский материализм с его идеей классовой борьбы и нечеловеческого коллектива, так из гуманизма демократов середины прошлого столетия родился антихристианский, революционный «гуманизм» нашей эпохи, как скоро русская демократия пришла к забвению всех высших духовных идеалов, которые первоначально были неразрывно связаны с идеалом социальной справедливости. Мы охотно согласимся с тем, что проживи Белинский еще двадцать лет, хотя бы до того только момента, когда Чернышевский в первый раз заговорил о тепоре, как о лучшем аргументе «гуманистов», он отшатнулся бы от своего «ученика», совершенно так

же, как представитель «отверженных» и автор «Труженников моря». Виктор Гюго, с ужасом отвернулся от французской революции в романе «93-й год», написанном под свежим впечатлением Парижской коммуны, автор «Давида Коперфильда», Диккенс, отвернулся от нее в «Повести о двух городах». Но это рассуждение не является опровержением той связи, на которую мы выше указали.

Понадобился гений Достоевского, чтобы за 80 лет до нас предвидеть эту связь и предугадать кризис сознания, свидетелями которого мы сейчас являемся и который все ясней определяется, как кризис так называемых «передовых» идей прошлого и начала нынешнего века. Достоевский был единственным писателем, запечатлевшим в поразительных деталях трагедию нашего столетия задолго до того, как она наступила. Сквозь мглу семи-восьми десятилетий он прозревал первые признаки того страшного нравственного одичания, которое охватит человечество, как результат глубокой внутренней опустошенности обездушивания человека философией рационализма и плоского «гуманизма». И, прозревая их опасность, он противопоставил им свой гуманизм, свое учение, где вера в человека и любовь к нему подняты на такую высоту, какой они могут достигнуть лишь в учении христианина.

* * *

Именно человек, его личность, его судьба составляли основную тему Достоевского на протяжении всего его творческого пути. При этом тема человека всегда воспринималась Достоевским в неразрывной связи с темой о Боге, ибо, как указывает Н. Бердяев, «решить вопрос о человеке» — значило для Достоевского «решить вопрос и о Боге».*)

В отличие от своих современников, Достоевский выступил в защиту абсолютной, а не относительной ценности человека. С точки зрения Достоевского, правильное понимание человека может быть достигнуто лишь через признание его мистического происхождения и его божественной природы. Человек есть образ и подобие Божие, и как таковая, его личность неприкосновенна и священна. Это положение является краеугольным камнем всего философского учения Достоевского. Отсюда — сильная религиозная струя, окрашивающая творчество великого писателя с «Записок из подполья», созданных тотчас же после возвращения с каторги, до «Братьев Карамазовых», где тема о человеке и о Боге разрешается с необычайной философской глубиной. Гуманизм Федора Достоев-

*) Н. Бердяев. Мирозерцание Достоевского. Прага, 1923. Стр. 35. Ниже мы не раз цитируем эту книгу проф. Бердяева. Как известно, ныне ее автор вошел в ряды сотрудников парижских «Русских Новостей», ориентация которых слишком хорошо известна, чтобы о ней много говорить. Однако, это обстоятельство ничуть не умаляет в наших глазах достоинства книги Н. Бердяева о Достоевском, ни одна строчка которой не могла бы быть помещена без изменений на страницах «Русских Новостей».

ского — гуманизм религиозный, христианский, и это коренным образом отличает его от рационалистических учений о природе человека, возникших на западе в век Просвещения и проникших в XIX столетии в русскую литературу и, в особенности, — в публицистику.

Впервые эти мысли были высказаны Достоевским в романе «Записки из подполья» (1864 г.), составляющем, как уже сказано, рубеж в творчестве великого писателя. Можно утверждать, что в «Записках из подполья» заключены зерна всех основных идей, волновавших Достоевского во второй, наиболее значительный и плодотворный период его деятельности. Все, что написано им после 1863-64 г. в течение последующих двадцати лет — так или иначе вышло от «Записок из подполья». *)

В центре этого произведения, написанного от первого лица, стоит образ человека, ушедшего в глубину себя и ведущего уединенный «подпольный» образ жизни. В течение многих лет он ведет наблюдение над самим собой, над историей, над обществом и излагает эти наблюдения читателю. Поэтому главный интерес романа состоит не в фабуле, а в рассуждениях героя, в уста которого Достоевский вкладывает многое от собственных идей, хотя, конечно, полное отождествление автора «Записок из подполья» с их героем было бы ошибочным.

Многолетние наблюдения и размышления приводят человека из подполья к глубокому убеждению, что человек, взятый во всей сложности своей природы, — есть существо мистическое, иррациональное и что идеал рациональных утопистов о предопределении разумом истории не отвечает этой сложности природы человека. Самая неподвижность идеала рационалистов, как «венца истории», состоит в противоречии с коренным началом человеческой природы — актом творчества. Поэтому, будь этот идеал осуществлен (чего, в свою очередь, можно достичь только путем насилия), он неизбежно поведет к сужению духовного начала в человеке, к нивелировке его личности. Одним из самых сильных мест романа является та часть его, где герой, опровергая идеал рациональных утопистов, утверждает, что самым дорогим для человека является его свобода, его индивидуальность, которые он ставит выше даже доводов рассудка, если последний грозит их уничтожить.

«Рассудок, господа, есть вещь хорошая, это бесспорно, — восклицает человек подполья, — но рассудок есть только рассудок и удовлетворяет только рассудочной способности человека, а хотение есть проявление всей человеческой жизни... Ведь я, например, совершенно естественно хочу жить для того, чтобы удовлетворять всей моей способности жить, а не для того, чтоб удовлетворить одной только моей рассудочной способности, то-есть какой-нибудь одной двадцатой

*) Вот главные из этих произведений: «Преступление и наказание» (1865), «Идиот» (1868), «Бесы» (1870), «Подросток» (1876), «Дневник писателя» (1878-1881), «Братья Карамазовы» (1878-1880).

доли всей моей способности жить». «Повторяю вам в сотый раз, есть один только случай, только один, когда человек может нарочно, сознательно пожелать себе даже вредного, глупейшего, а именно: чтоб иметь право пожелать себе даже и глупейшего и не быть связанным обязанностью желать одного только умного. Ведь это глупейшее, ведь этот свой каприз и в самом деле, господа, может быть всего выгоднее для нашего брата из всего, что есть на земле, особенно в иных случаях. А в частности может быть выгоднее всех случаев даже и в таком случае, если приносит нам явный вред и противоречит самым здравым заключениям нашего рассудка о выгодах, — потому что во всяком случае сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то-есть нашу личность и нашу индифференциальность». «Человек любит созидать и дороги прокладывать, это бесспорно. Но отчетливо же тоже любит разрушение и хаос? Вот это скажите-ка!.. Не потому ли, может быть, он так любит разрушение и хаос (ведь это, бесспорно, что он иногда очень любит, это уж так), что сам инстинктивно боится достигнуть цели и довершить создаваемое здание?.. Кто знает (поручиться нельзя), может быть, что и вся цель на земле, к которой человечество стремится, только и заключается в одной этой безпрерывной процесса достижения; иначе сказать — самой жизни, а не собственно в цели, которая, разумеется, должна быть не иное что, как дважды два четыре, то-есть формула, а, ведь, дважды два четыре есть уже не жизнь, господа, а начало смерти». «Вы, верите в хрустальное здание, на веки нерушимое... Ну, а я, может быть, потому-то и боюсь этого здания, что оно хрустальное и на веки нерушимое... Я не приму за венец желаний моих — капитальный дом с квартирами для бедных жильцов по контракту на тысячу лет и, на всякий случай, с зубным врачом Вагенгеймом на вывеске. Уничтожьте мои желания, согните мои идеалы, покажите мне что-нибудь лучше — и я за вами пойду... А покамест я еще живу и желаю, — да отсохни у меня рука, коль я хоть один кирпичик на такой капитальный дом принесу!» («Записки из подполья», гл. VII-X. Курсив всюду наш — Н.В.).

Эти строки — один из самых страстных панегириков человеку и его свободе во всей мировой литературе. Едкая, уничтожающая критика рационализма и плоского утопического „гуманизма“, вложенная в уста человека из подполья, есть исходный пункт защиты Достоевским абсолютного достоинства человеческой личности. Отсюда начинается развитие великим мыслителем его собственной гуманистической концепции. Показав несостоятельность социально-утопического идеала, Достоевский выступает с проповедью своего христианского идеала, утверждая, что лишь в нем вполне открылось значение человека и будет достигнута свобода его личности. Комментируя эти мысли великого писателя, выдающийся исследователь его творчества В. Розанов говорит следующее:

«В праве личность есть только фикция, необходимый центр, к которому относятся договорные обязательства, имущественная принадлежность и пр.; значение ее не выяснено и не обособлено здесь... В политической экономии личность совершенно исчезает: там есть только рабочая сила, к которой лицо есть совершенно ненужный придаток. Таким образом, путем знания, путем науки недостижимо восстановление личности в истории: мы можем ее уважать, но это не есть необходимость, мы можем ею и пренебрегать, — и это в особенности, когда она дурна, порочна. Но уже самое введение этих условий подкашивает абсолютность личности: для греков дурны были все варвары, для римлян все не граждане, для католиков — еретики, для гуманистов — все обскуранты, для людей 93-го года — все консерваторы.*) Этой обусловленности и с ней колебаниям, сомнениям кладет грань религия: личность в всякая, которая жива, абсолютна как образ Божий и неприкосновенна.**)

Идея абсолютного значения человека с особой философской глубиной и художественной выразительностью запечатлена Федором Достоевским в романе «Преступление и наказание». Герой этого произведения, одаренный, но нищий студент Раскольников, решает убить ничтожную и гнусную старуху-процентщицу, чтобы воспользоваться ее деньгами и помочь своей семье. Преступление совершается. Раскольникову удается скрыть его следы и он имеет все возможности воспользоваться плодами злодеяния. Но, в то самое мгновение, как только он переступил законы неприкосновенности личности человека, для него вдруг начинается совершенно новая, полная иррациональных откровений жизнь, которая не только заставляет его забыть о деньгах старухи, но и разрушает до конца все его прежние представления о мире и о человеке. Разрешая свою генеральную диалективу, Достоевский умышленно сталкивает в «Преступлении и наказании» две личности, находящиеся на полярно-противоположных точках нашего представления о человеке: с одной стороны — молодой, талантливый, полный кипучих сил Раскольников, способный принести обществу много благ; с другой низкая и корыстная старуха-ростовщица, присосавшаяся к этому обществу, как ненасытный клоп и живущая какими-то растительными темными инстинктами. Но даже эта низкая старуха все же человек, и, с точки зрения писателя-христианина, писателя-гуманиста, личность ее так же неприкосновенна, как и всякая другая личность.

«Все, что совершается в душе Раскольникова, иррационально, — пишет В. В. Розанов, — он до конца не знает, почему ему нельзя было убить процентщицу. И с ним вместе и мы не понимаем

*) Совершенно так же, как в наше время для авторитарных режимов все «классово-чуждые» или все лица «неарийского происхождения» и т. д.

***) В. Розанов. «Легенда о Великом Инквизиторе». Ф. М. Достоевского. Изд. М. В. Парожкова. СПб. 1906. Стр. 51.

умом, диалектически, состояние его совести, качество его поступка. Но целым существом своим мы совершенно ясно ощущаем необходимость всех последствий совершенного им факта. Едва разбил он отраженный Лик Божий, правда, обезображенный его носителем, — и он почувствовал, как для него самого померк этот Лик и с ним вся природа. «Не старушонку я убил, себя я убил», говорит он в одном месте... «Мистический узел его существа, который мы именуем условно «душою», точно соединен неощутимой связью с мистическим узлом другого существа, внешнюю форму которого он разбил... Здесь, в этом анализе преступности и разгаданная глубочайшая тайна человеческой природы, раскрыт великий и священный закон о непреступности человеческого существа, его абсолютности.»*)

* * *

Учение об иррациональности природы человека и об абсолютной ценности его есть первая и наиболее существенная сторона гуманизма Достоевского. Но ею не исчерпывается вся глубина его. С вопросом о Боге и о человеке неразрывно связана для Достоевского тема свободы. В мировой литературе трудно указать художника, внимание которого было бы до такой степени приковано к этой проблеме, как мы это наблюдаем в отношении Федора Достоевского. Он был величайшим провозвестником свободы, и без правильного понимания этой стороны его мировоззрения невозможно полностью понять ни его учения о человеке, ни сущности его гуманизма.

Выступая на защиту иррационального и индивидуального начала в человеке, Достоевский страстно отрицает всякую попытку подавить и уничтожить это индивидуальное начало каким бы то ни было путем. Критика идеала социальных утопистов, в котором Достоевский видел наибольшую угрозу человеку и его свободе, начатая им, как выше сказано, еще в „Записках из подполья“, достигает апогея в следующем замечательном романе „Бесы“, вышедшем через два года после „Преступления и наказания“.

Основным исходным пунктом критики социально-утопических теорий служит для великого писателя положение о невозможности объединения людей ни на какой другой основе, кроме христианской. Достоевский был глубоко убежден, что все попытки устройства человеческого счастья на земле, без Бога, приведут только к замене одной формы социального неравенства другой или даже к прямой деспотии тиранического меньшинства над большинством, ибо все они включают в себя элементы принудительного единения людей во имя счастья и во имя будущей далекой цели, которая еще «не показалась ничему живому» и, быть может не покажется, о которой человечество может лишь мечтать или гадать. Коренной порок этих теорий представлялся Достоевскому в том, что они рассматривают человеческую личность лишь как средство к возве-

дению «хрустального дворца». Достоевский был глубоко убежден, что эти социальные теории есть ничто иное, как попытки устройства человеческого счастья ценою отрицания его неприкосновенности и свободы его личности.*)

Один из „идеологов“ мира подпольной революции, изображаемого Достоевским в „Бесах“, некто Шигаев, читает на собрании конспиративного кружка трактат о будущем социальном устройстве. Замечательные первые же слова его доклада:

„Я запутался в собственных данных, — говорит Шигаев, — и мое заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю, однакож, что кроме моего разрешения общественной формулы не может быть никакого... Я предлагаю рай, земной рай, и другого на земле быть не может.“

В этом монологе Шигаева таится гениальная характеристика главного противоречия рационалистических и социально-утопических теорий: противоречия между средствами и целью, между их исходными позициями и теми результатами, к которым они раньше или позже с неизбежностью придут. Как Шигаев, ищущий царства социальной справедливости в теории, приходит к выводу, что это царство можно было бы осуществить, только отняв у девяти десятых человечества свободу, так и будущие практики его учения, прельщающие массы лозунгом „земногорая“, придут в конце-концов к аду неравенства и деспотизма.

„Господин Шигаев отчасти фанатик человеческого, — серьезно замечает один из героев «Бесов», — но вспомните, что у Фурье, у Кабета в особенности и даже у самого Прудона есть множество самых деспотических и фантастических предрешений вопроса“.

Прошло около десяти лет после написания «Бесов», прежде чем Федор Достоевский в monumentalной эпопее «Братья Карамазовы» дал свое предрешение вопроса о свободе человека, вложил это в уста старца Зосимы и в неповторимую силу мастерства «Легенду о Великом Инквизиторе».

Как правильное понимание человека может быть достигнуто лишь через признание его божественной природы, так истинная свобода и истинное равенство возможны только во Христе, на пути мистическом. Одержимость идеей всеобщего соединения людей без Бога заключает в себе страш-

*) В знаменитой «Пушкинской речи» Достоевского есть фраза, которая может служить прекрасным дополнением к этим мыслям великого гуманиста: «Представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале оспасти людей, дайте им, наконец, мир и покой. И вот, представьте себе тоже, что для этого необходимо и неизбежно замучить всего только лишь одно человеческое существо... Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? («Дневник писателя». т. XII, стр. 424).

*) В. Розанов. «Легенда о Великом Инквизиторе» Ф. М. Достоевского. Стр. 52-53.

ную опасность истребления свободы человеческого духа, гибели человека вообще.

„Мыслят устроить справедливо, — говорит старец Зосима, — но, отвергнув Христа, кончат тем, что зальют мир кровью, ибо кровь зовет кровь, а извлекающий меч погибнет мечом. И если бы не обетование Христово, то так и истребили бы друг друга даже до последних двух человек на земле“.

Свобода Достоевского — иная свобода. Она вытекает из свободного признания той высшей Истины, которую принес людям Христос. Лишь тогда, когда на смену социальной ненависти придет социальная любовь, искание человеческой свободы вступит в новый фаизс, свободный от тех страшных преступлений, жертвою которых служит ныне человек.

„Неужели сие мечта, чтобы под конец человек находил свои радости лишь в подвигах просвещения и милосердия, а не в радостях жестоких, как ныне? — заключает свое поучение „о братстве

всех людей“ старец Зосима... — Твердо верую, что нет, и что время близко. Сметются и спрашивают: когда же сие время наступит и похоже ли на то, что наступит? Я же мыслю, что мы со Христом это великое дело решим. И сколько же было людей на земле, в истории человеческой, которые даже за десять лет немислимы были и которые вдруг появились, когда приходил для них таинственный срок их, и проносились по всей земле? Так и у нас будет, и воссияет миру народ наш и скажут все люди: „камень, который отвергни зиждущие, стал главою угла“. А насмешников спросить бы самих: если у нас мечта, то когда же вы-то воздвигните здание свое и устроите справедливо лишь умом своим, без Христа? Если же и утверждаете сами, что оно-то, напротив, и идет к единению, то воистину веруют в сие лишь самые из них простодушные, так что удивиться даже можно сему простодушью. Воистину у них мечтательной фантазии более, чем у нас“.

„Я даже утверждаю и осмеливаюсь высказать, что любовь к человечеству вообще — есть, как и идея, одна из самых непосижных идей для человеческого ума. Именно как идея. Ее может оправдать лишь одно чувство. Но чувство то возможно именно лишь при совместном убеждении в бессмертии души человеческой.“

(Ф. М. Достоевский,
„Дневник писателя“, декабрь, 1876 г.)

„Кто истинный друг человечества, у кого хоть разболело сердце по страданиям народа, тот поймет и извинит всю непроходимую наносную грязь, в которую погружен народ наш, и сумеет отыскать в этой грязи брильянты. Повторяю: судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно воздыхает. А ведь не все же и в народе — мерзавцы, есть прямо святые, да еще какие: сами светят и всем нам путь освещают! Я как-то слепо убежден, что нет такого подлеца и мерзавца в русском народе, который бы не знал, что он подл и мерзок, тогда как у других бывает так, что делает мерзость, да еще сам себя за нее похваливает, в принцип свою мерзость возводит, утверждает, что в ней-то и заключается Г'Огдге и свет цивилизации, и, несчастный, кончает тем, что верит тому искренно, слепо и даже честно. Нет, судите наш народ не по тому, что он есть, а по тому, чем желал бы

стать. А идеалы его сильны и святы, и они-то и спасли его в века мучений; они срослись с душой его искони и наградили ее навеки простодушием и честностью, искренностью и широким всеоткрытым умом, и все это в самом привлекательном, гармоническом соединении. А если при том и так много грязи, то русский человек и тоскует от нее всего более сам, и верит, что все это — лишь наносное и временное, наваждение дьявольское, что кончится тьма и что непременно воссияет когда-нибудь вечный свет.“

(Ф. М. Достоевский,
„Дневник писателя“, декабрь 1876 г.)

„Когда общество перестанет жалеть слабых и угнетенных, тогда ему же самому станет плохо: оно очерствет и засохнет, станет развратно и бесплодно...“

(Ф. М. Достоевский,
„Дневник писателя“, февраль, 1876 г.)

„В судьбах настоящих и в судьбах будущих православного христианства, — в том заключена вся идея народа русского, в том его служение Христу и жажда подвига за Христа. Жажда эта истинная, великая и не переставаемая в народе нашем с древнейших времен, непрестанная, может быть, никогда, — и это чрезвычайно важный факт в характеристике народа нашего и государства нашего.“

(Ф. М. Достоевский,
„Дневник писателя“, декабрь, 1876 г.)